

DOI: 10.31857/S241377150010950-8

Основные тенденции современного изучения творчества Ф. М. Достоевского

© 2020 г. С. А. Кибальник

Доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник Института русской литературы
(Пушкинского Дома) РАН,
Россия, 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4
kibalnik007@mail.ru

Дата поступления материала в редакцию 25 июня 2020 г.

Дата публикации: 31 августа 2020 г.

Резюме. Настоящая обзорная статья посвящена российским и зарубежным индивидуальным и коллективным монографиям о Достоевском, опубликованным за последние три года (2017–2019). В ней содержится достаточно подробная библиография подобных изданий, некоторые из них детально проанализированы. Излагается ряд новых биографических материалов, которые были обнародованы в последнее время и существенным образом обогатили наши представления о жизни писателя. Особое внимание уделено работам герменевтического и психоаналитического характера, в которых намечены новые подходы к Достоевскому. Многие из них, по мнению автора, могут служить прекрасной иллюстрацией того, как инструментальный, позаимствованный из известных работ М.М. Бахтина, все более обнаруживает свою непригодность при попытках применения его к художественному мышлению Достоевского. В работе также сформулированы и продемонстрированы на примерах некоторые методологические принципы проведения сопоставительных исследований источниковедческого характера. Выход изучения Достоевского на новые рубежи может произойти, по убеждению автора, только на основе окончательного отказа от всех внеположных самому писателю призм, сквозь которые принято смотреть на него, причем не только от марксистской или структуралистской “призм”, но, наконец, и от ортодоксально-христианской или бахтинистской.

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта РФФИ № 19-112-50118, конкурс “Экспансия”.

Ключевые слова: Достоевский, тенденция, основной, изучение, исследование, творчество, поэтика, интерпретация, биография.

Для цитирования: Кибальник С.А. Основные тенденции современного изучения творчества Ф.М. Достоевского // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2020. Т. 79. № 4. С. 67–83. DOI: 10.31857/S241377150010950-8.

The Main Trends in the Contemporary F. M. Dostoevsky Studies

© 2020 Serguei A. Kibalnik

Doct. Sci. (Philol.),
Leading Researcher at the Institute of Russian Literature
(the Pushkin House) of the RAS,
4 Makarov Embankment, St. Petersburg, 199034, Russia
kibalnik007@mail.ru

Received by Editor on June 25, 2020

Date of publication August 31, 2020

Abstract. This survey article is devoted to Russian and foreign individual and collective monographs about Dostoevsky published over the recent three years (2017–2019). It contains a rather detailed bibliography of such publications; some of them are analyzed in detail. A number of new biographical materials are presented, which have been recently published recently and have significantly enriched our understanding of the writer's life. Particular attention is paid to works of hermeneutic and psychoanalytical nature, in which new approaches to Dostoevsky are outlined. Many of them, according to the author, can serve as an excellent illustration of how the tools, borrowed from the famous works of Mikhail Bakhtin, increasingly find themselves unsuited to Dostoevsky's artistic thought. In the work, some methodological principles for conducting comparative studies dealing with source criticism are also formulated and demonstrated through examples. According to the article, a breakthrough in the Dostoevsky studies might occur only on the basis of a downright dismissal of all the prisms alien to the writer's thought, through which it became customary to investigate him, including not only the Marxist and structuralist perspectives, but also the Orthodox Christian and Bakhtinian ones.

Acknowledgment. This study was funded by RFBR, project № 19-112-50118.

Key words: Dostoevsky, trend, main, studies, research, works, poetics, interpretation, biography.

For citation: Kibalnik, S.A. *Osnovnye tendentsii sovremennogo izucheniya tvorchestva Dostoevskogo* [The Main Trends in Contemporary F.M. Dostoevsky Studies]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2020, Vol. 79, No. 4, pp. 67–83. (In Russ.) DOI: 10.31857/S241377150010950-8.

В июле 2019 года в Бостоне (США) прошел XVII Симпозиум Международного общества Ф.М. Достоевского. Наряду со многими достижениями современного достоевсковедения он обнаружил одну застарелую проблему в его развитии. Иноязычное и русскоязычное изучение его творчества — это во многом параллельные миры. К сожалению, не так часто приходится видеть у зарубежных — во всяком случае у американских и западноевропейских — исследователей ссылки на работы российских коллег. То же самое, надо признать, присуще работам российских филологов по отношению к любым иноязычным, в том числе и — хотя это и менее простительно — англоязычным достоевковедам. Именно на то, чтобы хотя бы частично способствовать разрешению этой проблемы, нацелена настоящая обзорная статья, посвященная российским и зарубежным индивидуальным и коллективным монографиям о Достоевском, опубликованным за последние три года, в 2017–2019 гг.

Подобная работа тем более необходима, что за этот период вышли из печати многие замечательные труды российских и зарубежных исследователей, посвященные творчеству Достоевского. Среди них и разыскания

биографического характера, и исследования, предлагающие новые подходы к интерпретации творчества писателя, и серьезные труды о рецепции Достоевского в русской и зарубежных литературах, философии и кино. Все они требуют осмысления, которое, возможно, и позволит выявить основные тенденции современного изучения творчества Достоевского.

1

Говоря об исследованиях биографического характера, отметим, в частности, что за последние годы был предпринят ряд разысканий относительно пребывания Достоевского во Флоренции в 1868–1869 гг. Идентифицировано первое жилье писателя в этом городе — дом на улице Гвиччардини, фасад которого, как оказалось, сохранился до настоящего времени. Благодаря находкам, сделанным Валентиной Супино в архивах приходских церквей, неподалеку от которых жил писатель, определен точный адрес его проживания у рынка Порчеллино. Установлено, что в промежутке между этими двумя адресами Достоевский проживал “пару месяцев” в доме принца Антонио Бонапарте, в бельэтаже на Виа де Барди, 31. В работах В. Супино также уточняется хронология переездов и высказаны гипотезы

относительно возможных других флорентийских адресов Достоевского¹.

Новое освещение получили и некоторые моменты пребывания Достоевского на каторге. Монография Элизабет Блэйк «Путешествия в Сибирь Достоевского. “Встречи” с польскими литераторами-изгнанниками» [1] уже была детально прореферирована в специальной рецензии на нее². Остановимся поэтому только на первой из трех глав монографии, в которой речь идет о совместном пребывании Достоевского и Йозефа Богуславского в Омском остроге. Глава эта — «Сибирские воспоминания о “Мертвом доме”» — содержит изложение биографии польского революционера, которого сам писатель упоминает на страницах “Записок из Мертвого дома”.

Достоевский пишет о Богуславском как о “больном, несколько наклонном к чахотке человеке, раздражительном и нервном, но в сущности предоброем и даже великодушном” [2, т. 4, с. 209]. Далее он сообщает: “Потом мы года два почти неразлучно ходили с Б-м на одни работы, чаще же всего в мастерскую. Мы с ним болтали; говорили об наших надеждах и убеждениях. Славный был он человек; но убеждения его иногда были очень странные, исключительные. <...> Б-кий с болью принимал каждое возражение и с едкостью отвечал мне. Впрочем, во многом, может быть, он был и правее меня, не знаю; но мы наконец расстались, и это было мне очень больно: мы уже много разделили вместе” [2, т. 4, с. 216].

Благодаря книге Э. Блэйк теперь мы можем в полной мере, хотя и, разумеется, с поправкой на субъективность обоих участников этого диалога, восстановить его в относительной полноте. Правда, отчасти такая возможность у нас была и раньше. Воспоминания Богуславского и ранее публиковались, но только в отредактированном его товарищем по Омскому

острогу — Шимоном Токаржевским — виде³. В книге Блэйк воспоминания Богуславского впервые опубликованы по тексту их рукописи, хранящейся в библиотеке Ягеллонского университета (Краков), в переводе на английский язык.

Важной эта новая публикация представляется по нескольким причинам. Во-первых, воспоминания эти писались по возвращении Богуславского на родину в период с 1855 по 1857–1859 гг., то есть почти в то же самое время, когда Достоевский начинал работать над своими “Записками...”. Между тем впервые опубликованная редакция Токаржевского появилась в 1896 году и, как отмечают исследователи, несет на себе отпечаток “представлений об отношении России и Польши уже конца XIX в.” (а также передает впечатления “о творчестве Достоевского в целом”)⁴. Токаржевский впоследствии провел в Сибири еще почти 20 лет (1864–1882/83), и его редакция поэтому проникнута патриотическими настроениями, более характерными для эпохи после 1863 года. В ней мало что остается от аромата эпохи второй половины 1850-х годов, который ощущается в тексте Богуславского [1, р. 38]⁵.

Во-вторых, в редакции Токаржевского были опущены «наиболее жесткие детали сибирской каторги, связанные с сексуальными унижениями, венерическими болезнями среди военных, эксплуатацией солдат офицерами, многочисленными случаями оскорбления и унижения заключенных и дурного обращения “Васьки”» [1, р. 35–36] — майора Кривцова (которого Достоевский изображает под именем “плац-майора”) с некоторыми заключенными.

Художественное преломление пребывания на каторге в “Мертвом доме” Достоевским и позицию польских авторов сибирских воспоминаний Э. Блэйк сопоставляет в нескольких

¹ Supino, Valentina. I soggiorni di Dostoevskij in Europa e la loro influenza sulla sua opera. 2a edizione. Firenze: LoGisma, 2017. 134 pp.; Супино В. Пребывание Достоевского в Европе и ее влияние на его произведения. 2-е изд. Флоренция: Логизма, 2017; Супино В. Флорентийские адреса Достоевского // Неизвестный Достоевский. 2019. № 1. С. 10–27.

² См.: Новикова Е.Г. Дорогами Ф.М. Достоевского: поляки в Сибири. Рецензия на книгу *Travels from Dostoevsky's Siberia. Encounters with Polish Literary Exiles* / by Elizabeth A. Blake (Boston 2019) // Неизвестный Достоевский. 2019. № 4.

³ См.: Tokarzewski S. Siedem lat katorgi. Warszawa, L. Biliński i W. Maślankiewicz Publ., 1907. 225 p.; Tokarzewski S. Katorznicy. Warszawa, Krakow, 1912. 213 p.; Tokarzewski S. Wspomnienia Sybiraka // Nowa reforma. Krakow, 1896. № 249–294.

⁴ Дьяков В.А. Каторжные годы Ф.М. Достоевского (По новым источникам) // Политическая ссылка в Сибири XIX — начала XX в.: Историография и источники. Новосибирск, 1987. С. 196–220.

⁵ Зато Токаржевский приводит в примечаниях к “омским” главам фрагменты из “Записок из Мертвого дома”, включая главу “Товарищи”, в которой Достоевский подробно и в целом довольно критически высказывается о своих польских товарищах по несчастью.

вводных разделах своей книги: “Межкультурное напряжение и товарищество”, “Инсценировка наказания в тюремном пространстве: за пределами кнута и плети”, “Стратегии выживания и преодоления”, “Некоторые общие взгляды” и “Общий язык” [1, р. 5, 10, 15, 18, 22].

2

Разумеется, появились за последние три года и монографические исследования, в которых по-новому осмысляются многие важные аспекты художественного мышления Достоевского. Начнем с работ американских ученых⁶, из которых подробно хотелось бы остановиться на одной.

Вообще, современное американское достоевскоеведение, в отличие от недавних славных его времен, отмеченных появлением работ Джозефа Франка и Роберта Джексона, сегодня уже совсем иное. Во-первых, оно в основном не столько занимается самим Достоевским, сколько пропускает через его творчество наиболее популярные культурно-антропологические концепции. И во-вторых, по сравнению, например, с современным китайским или японским достоевскоеведением, не слишком интересуется тем, что и как пишут сегодня о Достоевском в России.

Книга Юрия Корригана, о которой пойдет речь далее [3] (на русский язык ее заглавие можно было бы, наверное, лучше всего перевести как «Достоевский в лабиринтах “себя”»), в обоих этих отношениях представляет собой счастливое исключение. Из пятнадцати страниц, которые занимает в этой книге “Библиография” (впрочем, включающая не только исследовательскую литературу, но и тексты [3, р. 215–230]), около половины работ принадлежит российским мыслителям и ученым. К тому же эта книга направлена на разрешение серьезной проблемы, которая давно уже поставлена представителями как историко-литературного, так и религиозно-философского направлений в изучении творчества Достоевского.

⁶ Достоевский по-прежнему остается одним из самых изучаемых писателей в США, а американское достоевскоеведение сохраняет свои лидирующие позиции в мире наряду с российским. Ярким свидетельством этого стал, например, недавно прошедший в Бостоне очередной Симпозиум Международного общества Достоевского. См. о нем: *Кибальник С.А.* XVII Симпозиум Международного общества Ф. М. Достоевского в США // *Русская литература*. 2020. № 1. С. 225–228.

Действительно, с одной стороны, во всем своем зрелом творчестве писатель последовательно боролся с идеей индивидуальной автономии, возможности отдельного, построенного вне зависимости от судьбы народа и человечества личного счастья, а с другой — на протяжении всей жизни страстно защищал свободу и неприкосновенность человеческой личности. Как это совмещалось в его творчестве? На этот вопрос и пытается ответить своей книгой Юрий Корриган. По его убеждению, парадоксальное понимание личности как индивидуально отграниченной от других и в то же время бесконечно причастной к ним Достоевский разрешал, двигаясь от изучения человеческой разьединенности в его ранних произведениях к своеобразной “метафизической психологии”, посредством которой он пытался сохранить понятия личности и души для наступающего секуляризированного мира.

Героев Достоевского, полагает Корриган, ужасало их собственное внутреннее пространство: пространство памяти, подсознания, иных сущностей, лежащих в основе их внутреннего опыта. В своей книге исследователь обращается к тому, как этот “ужас сознания” толкает их к чрезвычайной устремленности вовне: к непреодолимому цеплянию за “других” как средству замещения их утраченных душевных способностей и в то же время к осознанию невозможности растворить себя внутри тех или иных “коллективных личностей”.

В первой главе автор очерчивает парадигму “коллективной личности”, которая реализована в раннем рассказе Достоевского “Слабое сердце” (1848). По мнению Корригана, этот рассказ предоставляет нам основополагающий словарь для описания сплава “себя” и “других” и изображения разрушенного внутреннего мира. Во второй главе через прочтение “Двойника” (1846), “Хозяйки” (1847) и “Неточки Незвановой” (1849) прослежены травма и шок от насилия, которые ставят барьер работе сознания и направляют личность вовне, чтобы она вновь обрела себя во взаимоотношениях с “другими”. Развиваемая Достоевским модель “тройственной коллективной личности” поставлена здесь исследователем в контекст традиций дуализма и “двойничества”.

В третьей главе детально рассматривается представление о “раненой памяти”, воплотившееся в “Униженных и оскорбленных” (1861), и его связь с возникновением метафизического измерения личности. «Будучи внутренне

направлен против просветительской добродетели личной открытости, — отмечает Корриган, — роман отстаивает “психическую травму” как опыт» [3, р. 8], из которого личность может выйти, став более сильной. В каждой из трех начальных глав книги, которые все в той или иной мере посвящены проблеме развоплощения и воплощения личности, автор использует “Преступление и наказание” (1866) как краеугольный камень для понимания ранних произведений Достоевского.

В четвертой главе обозначен сдвиг фокуса к философскому измерению личности, который наблюдается в более поздних произведениях Достоевского. В ней исследуется скрытое, но могущественное присутствие непрощенных воспоминаний, которые, скрываясь под благополучным фасадом героев “Идиота”, преследуют их, побуждая к попыткам стереть те или иные грани их личностей, чтобы растворить себя в более широких, коллективных сущностях. Видя в князе Мышкине наивысшее воплощение “травмированных героев” Достоевского, Корриган понимает его путь в романе как попытку открыть какой-то основополагающий принцип существования *вне себя* — трансцендентный якорь для личности, помогающий ей высвободиться из ее проективного рассредоточения в других и, в свою очередь, освободить других от их ограниченного существования как только аспектов ее собственной души.

В пятой главе, посвященной “Бесам” (1872), новаторская демонология Достоевского прочитана Корриганом как опыт изучения разрушающейся личности. Автор показывает, что изображение “безличностей” и “шатких” личностей, которые безропотно поддаются внешним влияниям, связано в романе прежде всего с вампирической деятельностью трагикомического “беса” Степана Верховенского, последовательно покушающегося на внутреннее личностное пространство окружающих.

В шестой главе книги Корригана роман “Подросток” (1875) понят как художественное воплощение опыта восстановления внутреннего пространства личности. Исследователь утверждает, что распадающийся, на первый взгляд, сюжет романа оказывается на удивление целостным, если взглянуть на него как на опыт изучения различных стратегий перемещения “души” во внешнее пространство и поисков концепции личности, которая отменит представление о теле как средоточии

существования *я*. В главе седьмой Корриган рассматривает “Братья Карамазовы” (1880) как череду “ученичеств”, в которых ученик общается к личности учителя и в результате этого обретает себя. Обширная топография внутреннего пространства личности представлена в романе, по мнению Корригана, через изображение постепенного отделения его протагонистов: Алеши, Мити, Ивана — от коллективного опыта личности и движения их в глубь себя. В “Заключении” “проект Достоевского”, как называет исследователь эксперимент писателя по художественному воплощению своей новаторской концепции личности, поставлен в более широкий контекст проблемы “внутренней жизни”, который сложился в культурном дискурсе дореволюционного российского общества.

Нельзя сказать, что все эти достаточно свежие подходы к ранее уже неоднократно подвергавшимся интерпретации произведениям Достоевского реализованы в книге одинаково убедительно. Например, такой подход исследователя к “Бесам”, как представляется, позволяет не столько переосмыслить, сколько проиллюстрировать традиционное прочтение романа. При чтении же главы, посвященной “Идиоту”, возникает вопрос о том, насколько интерпретация Корриганом характера Мышкина согласуется с традиционным пониманием этого героя как “князя Христа”, пытающегося спасти в романе окружающих, но не справляющегося с этим и погибающего. Тем не менее то, что совершенно независимо от своих многочисленных предшественников в изучении этой темы Юрию Корригану удалось нащупать и распутать многие важные узлы в развитии художественной психологии и метафизики русского классика, не вызывает сомнений.

Книга Ю. Корригана, достаточно разносторонняя и направленная на синтез различных методов изучения Достоевского, тем не менее знаменует собой оживление подходов к писателю, связанных с психоаналитической традицией⁷. Наряду с ними существенное место в современной науке о Достоевском занимают

⁷ См.: Кибальник С.А. “Если Бог есть, то все дозволено”: Центральная метатема Достоевского в современной европейской психоаналитической философии // Вопросы философии. 2019. № 9. С. 87–97; Волчек О.В. Роман Ф.М. Достоевского “Идиот” во французском литературоведении, философии и психоанализе // Новые российские гуманитарные исследования (электронный ресурс: <http://www.nrgumis.ru/articles/2040/>)

исследования герменевтического характера, предлагающие новые интерпретации его произведений и новый взгляд на его поэтику.

3

Некоторые из них отмечены отчетливой тенденцией к пересмотру инструментария и методологии изучения Достоевского, намеченных в работах М.М. Бахтина. Так, например, И.А. Есаулов в ряде своих работ декларирует подход, который мне представляется чрезвычайно близким.

По мнению исследователя, “в конечном итоге почти необозримые в количественном плане работы о Достоевском тяготеют к двум полюсам, которые можно определить как *etic*- и *etic*-подходы. 1. При *etic*-подходе система изучается с какой-либо позиции вне этой системы (марксизм, фрейдизм, структурализм и проч.). *Etic*-подход позволяет изучать поведение системы изнутри. 2. При *etic*-подходе система конструируется аналитиком. При *etic*-подходе структура обнаруживается аналитиком, а не конструируется. 3. При *etic*-подходе критерии считаются абсолютными или универсальными. При *etic*-подходе критерии связаны с внутренними характеристиками системы” [4, с. 40–41].

Тем не менее вопрос о том, какие категории считать связанными с внутренними характеристиками того или иного произведения, а какие — внеположными им, все равно решается, как правило, достаточно субъективно, в зависимости от тех или иных литературно-теоретических пристрастий исследователя. Ведь, по крайней мере, отдельные из представителей иных литературоведческих школ, которые упоминает исследователь, тоже считали, что их подход позволяет изучать Достоевского именно “изнутри”. Если же И.А. Есаулов полагает, что более соприродный самому материалу взгляд на Достоевского обеспечивают христианские, православные позиции писателя, то, как мы знаем, во-первых, Достоевский в этом смысле далеко не так однозначен, а, во-вторых, даже и это, как известно, для интерпретатора не панацея. И сам же исследователь без труда припомнит явные искажения художественной мысли писателя, к которым привело рассмотрение его творчества, казалось бы, с чисто христианских позиций. Так что все дело, наверное, не в декларации той или иной благодетельной методологии, а в обоснованности того, что именно она позволяет лучше понять

то или иное литературное произведение, и, самое главное, в продуктивном ее применении.

Далее исследователь предлагает рассматривать произведения Достоевского уже не в свете бахтинского понимания “карнавала”, а в свете бинарной оппозиции юродства и шутовства, гораздо больше укорененной в русской культуре. «Существенно, — пишет он о романе “Идиот”, — как раз то, что в романе имеется не одно только *юродство* (о значении “юродства” князя Мышкина имеется целая исследовательская литература), но именно *оппозиция* юродства и шутовства, столь существенная для русской смеховой культуры» [4, с. 42]. К сожалению, исследователь не уточняет, следует ли рассматривать образ Мышкина в традиции русского юродства или, с его точки зрения, образ “юродивого” представляет собой его архетип.

Опорой для его концепции, на первый взгляд, служит сам текст романа, в самом начале которого именно “юродивым” однажды называет Мышкин Рогожина: “А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше! — Я, н-н-нет! Я ведь... Вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю. — Ну коли так, — воскликнул Рогожин, — совсем ты, князь, выходишь *юродивый*, и таких, как ты, бог любит!” [2, т. 9, с. 14]⁸. Очевидно, однако, что Рогожин употребляет понятие “юродивый” не в его конкретно-историческом и культурологическом, а в переносном смысле — то есть в смысле человека “чужаковатого”⁹, непохожего на всех, нарушающего привычно установленные нормы жизни. Правда, например, “крайняя аскеза, самоуничтожение, мнимое безумие, оскорбление и умерщвление плоти” присущи и настоящим “юродивым” (см.: [6, с. 27]). Однако разве у Мышкина имеет место последнее? Нет, он не знает пока женщин “по прирожденной болезни”. Кстати сказать, это совсем не помешает Мышкину

⁸ Ср. точку зрения Ф.В. Макаричева: “Мышкин, Алеша Карамазов, Тихон — не являются юродивыми в полном смысле этого слова. Чаще всего черты юродства проявляются у этих героев ситуативно и подмечаются не автором-повествователем, а другими персонажами. Эти замечания носят подчеркнуто субъективный характер и отражают, скорее, светское понимание этого явления” [5, с. 108]. Понятие это использовано в романе “Идиот” еще пару раз, но каждый раз безотносительно к князю Мышкину [см.: 2, т. 8, с. 10, 119].

⁹ См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд. 12-е. М., 1978. С. 838.

впоследствии влюбляться, быть чуть ли не женихом Аглаи и, наконец, едва не жениться на Настасье Филипповне. Так что даже такая “юродивость” Мышкина вовсе не непреложна.

Впрочем, если взять за основу понимание юродства как всего лишь внешней девиантности, то в самом ли деле Мышкин ведет себя в обществе и вообще в жизни девиантно? Нет, в основном он ведет себя совершенно нормально, а что касается до его поступков, то что же девиантного в получении им наследства, влюбленности в Аглаю и, наконец, даже в его сочувствии Настасье Филипповне и стремлении спасти ее? Конечно, то, что он нечаянно разбивает китайскую вазу на вечере у Епанчиных и собирается жениться на одной женщине, в то время как любит другую, выходит из круга обычных вещей. Только много ли в мире найдется людей, с которыми никогда в жизни не случилось ничего подобного?

Далее, какая “девиантность” присуща поведению настоящего “юродивого”? Отвечая на этот вопрос, сам И.А. Есаулов отталкивается исключительно от статьи С.Н. Дурылина о Лескове. Однако в главе его монографии [7], озаглавленной “Юродство и шутовство в русской литературе”, опираясь уже на труды А.М. Панченко и Б.Н. Успенского, он в то же время пишет о “семантике юродства” как об “аскетическом самоуничтожении, мнимом безумии”, “антиповедении”, “элементах мистификации в бытовом поведении юродивого”, в частности, о том, что они “часто ходили нагими” [7, с. 386, 390]. К этому можно было бы еще прибавить, что юродство, по определению свт. Димитрия Ростовского, — это “самоизвольное мученичество”, “маска, скрывающая добродетель”, «обязанность “ругаться миру”, обличая грехи сильных и слабых и не обращающая внимания на общественные приличия» [6, с. 26–31]¹⁰. Похоже ли все это на князя Мышкина?

В каком же смысле тогда исследователь говорит применительно к Мышкину о юродстве? Очевидно, только в том, как его понимал Дурылин: «Юродивый разрушает свою эмпирическую личность, уже сияет “пакибытием” в Личности — от Лица Христова утвержденной. Как бы в шапке-невидимке проходит юродивый по земле — и торжествует одновременно свое подлинное и решительное бытие, которое

укрыто от земли личиной греха и безумия» [4, с. 48]. Однако это ведь настолько широкое понимание, что при нем неразличимой становится грань между юродивым и Христом. Так, сам И.А. Есаулов утверждает: “Православный смысл юродства в том и состоит, чтобы способствовать воскресению к будущей жизни этого погрязшего в грехах (то есть умершего — в духовном смысле) мира” [8, с. 48]. А не в этом ли и смысл подвига Христа? Между тем то, что, набрасывая образ будущего князя Мышкина, Достоевский в черновиках к роману использовал выражение “князь Христос”, хорошо известно, и две основные тенденции в истолковании этого романа как раз связаны с представлением об этом герое как о спасающем окружающих или неспособном и даже не желающем спасти их.

Причина этой некоторой произвольности в установлении традиций русской культуры, к которым восходит образ князя Мышкина, лежит, как представляется, именно в абстрактно-теоретическом, внеположном подходе к анализируемому произведению¹¹. Неслучайно анализ романа в статье исследователя занимает всего пару неполных страниц [4, с. 45–46]. Неслучайно почти не ссылаются И.А. Есаулов на обширную научную литературу, посвященную теме юродивых и юродства у Достоевского¹². Неслучайно этот же подход он демонстрирует и при обращении к творчеству ряда других писателей. Так, ту же оппозицию юродства и шутовства он находит в “Мастере и Маргарите”, черты юродства усматривает в жизненном пути Гоголя и

¹¹ О противопоставлении феноменологического и абстрактно-теоретического подходов см.: *Кибальник С.А.* Александр Михайлович Панченко и петербургская школа феноменологии культуры // *А.М. Панченко и русская культура*. СПб., 2008. С. 307–329.

¹² См., например, в книге Ф.В. Макаричева [5 (глава II, § 2. Юродство и вариативность его выражения в творчестве Ф.М. Достоевского, § 4. Художественный синтез юродства, шутовства и идеологизма в стихии приживальщичества)]. См. также: Достоевский: Эстетика и поэтика: *Словарь-справочник* / Сост. Г.К. Шенников, А.А. Алексеев. Челябинск. 1997. С. 131–133; *Кабакова Е.Г.* Юродивые и “юродствующие” в романе Ф.М. Достоевского “Бесы” // *Вестник Челябинского государственного университета*. 1997. С. 92–102; *Гурова Е.П.* 1) Юродивые в романах Ф.М. Достоевского // *Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология*. Вып. 3 (27); 2) “Нулевой” юродский мир в романах Ф.М. Достоевского // *Вестник Пермского университета*. 2014. Вып. 4 (28); *Гомес Диас В.Б., Лексина И.А.* Тема юродства у Ф.М. Достоевского // *Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика*. 2017. Т. 8. № 3.

¹⁰ См. подробнее о юродстве: *Лихачев Д.С., Панченко А.М.* “Смеховой мир” Древней Руси. Л., 1976. С. 91–194.

Толстого, к “юродивой же линии” в русской литературе относит лирику Николая Клюева и творчество Андрея Платонова, стихотворный сборник М.А. Волошина “Демоны глухонемые” (1919) и др. [7, с. 395–408 (глава “Юродство и шутство в русской литературе”)].

Впрочем, может ли и быть иначе? Ведь в действительности обращение И.А. Есаулова к Достоевскому это не только именно “etic-подход” по существу, но “etic-подход” по исходным позициям. Ведь сам он характеризует свой подход как “существенную переакцентуацию Бахтина”. Однако чем, в сущности, теория Бахтина отличается от того же структурализма и чем в этом отношении бахтинизм лучше марксизма? Из чего следует, что “карнавал”, который даже сам Бахтин предлагал использовать прежде всего для понимания смеховой культуры средневековья и творчества Ф. Рабле, сколько-нибудь продуктивен применительно к Достоевскому?

Кстати сказать, Бахтин говорил не просто о “карнавале” у Достоевского. Применительно, например, к “Сну смешного человека” он писал, что в его герое «...явственно просупывается *амбивалентный* — серьезно-смеховой — образ “мудрого дурака” и “трагического шута” карнавализированной литературы», и, конечно же, находил такого героя и в “Идиоте”: “...такая амбивалентность — правда, обычно в более приглушенной форме — характерна для всех героев Достоевского. Можно сказать, что художественная мысль Достоевского не представляла себе никакой человеческой значительности без элементов некоторого *чуждательства* (в его различных вариациях). Ярче всего это раскрывается в образе Мышкина”¹³ [9, с. 423]. К сожалению, исследователь не приводит этих столь близких ему слов Бахтина¹⁴. Между тем его собственная позиция отличается от бахтинской только тем, что он разводит понятия “шута” и “юродивого”, в сущности, заменяя выражение Бахтина “трагический шут” на понятие “юродивый”.

Не будучи специалистом в области средневековой культуры, не берусь судить, но возможно, что разграничение, которое И.А. Есаулов при этом делает («В русской христианской

традиции шутство соотносится с inferнальной сферой *греха*, тогда как юродство как бы “помнит” о своем родстве со *святостью*» [8, с. 76]), вполне плодотворно. Однако, как нам представляется, оно также нуждается в более детальном обосновании¹⁵.

Кстати, выше обозначенный тип героя Бахтин усматривал и во многих других произведениях Достоевского: «Но и во всех других ведущих героях Достоевского — и в Раскольникове, и в Ставрогине, и в Версилове, и в Иване Карамазове — всегда есть “нечто смешное”, хотя и в более или менее редуцированной форме» [9, с. 423]. Это совершенно произвольное, ничем не подкрепленное утверждение Бахтина (ведь при желании смешное можно найти в ком и в чем угодно) в работах И.А. Есаулова отозвалось несколько более взвешенными формулировками, попытками хоть как-то опереться на тексты: «Скажем, в “Бесах” бесовство одновременно оказывается и шутством»¹⁶. В “Братьях Карамазовых” глава о старшем Карамазове называется “Старый шут”. В чем главная особенность Смердякова? В том, что это, так сказать, *гибрид* шутства и юродства. Отец — “старый шут”, а мать — настоящая городская юродивая. Иными словами, полюса девиации есть, а середины нет» [4, с. 45]. Однако замечает ли исследователь, что при таком подходе Смердяков оказывается сродни Мышкину? И тогда, может быть, убийством Федора Павловича Смердяков тоже хотел бросить вызов этому греховному миру?

Отчасти тот же вопрос возникает, когда мы обнаруживаем, что многое из того, что И.А. Есаулов говорит об “Идиоте”, он находит и в повести Достоевского “Кроткая” [8, с. 75–86].

¹³ Здесь стоит, конечно же, вспомнить также и “смешного человека” из “фантастического рассказа” Достоевского “Сон смешного человека” (1877).

¹⁴ Правда, в другом месте он достаточно широко цитирует другие высказывания Бахтина по обсуждаемой теме, см.: [7, с. 187–190 (глава “Новые категории русской филологии для понимания поэтики Достоевского”)].

¹⁵ Тем более что столь кардинальное противопоставление “юродства” и “шутства” находится в противоречии с пониманием этих терминов, по крайней мере у некоторых теоретиков древнерусского юродства. Ср.: “Осмеяние мира — это прежде всего дурачество, шутство. Действительно, юродство тесно соприкасается с институтом шутов — и в поведении, и в философии. Основной постулат философии шута — тезис о том, что все дураки, а самый большой дурак тот, кто не знает, что он дурак. <...> Иначе говоря, мир сплошь населен дураками, и единственный неподдельный мудрец — это юродивый, притворяющийся дураком” [6, с. 31].

¹⁶ Кстати сказать, на страницах “Бесов” есть настоящий юродивый — это, конечно же, “наш блаженный и пророчествующий” Семен Яковлевич, прототипом которого был “известный московский юродивый Иван Яковлевич Корейша” [2, т. 10, 254; т. 12, 302]. Причем это образ, написанный пародийно и скорее всецело принадлежащий окружающему его грешному миру, чем ему противостоящий.

Правда, здесь исследователь в большей степени отталкивается от исторического явления юродства: «Юродивый “ругается миру” именно потому, что мир не просто “во зле лежит”, но еще и духовно мертв, полагая, что он вполне жив. Эти “мертвецы”, которых “всюду” видит — теперь — муж, такие же, каким и он был ранее, до того, как “она” стала для него “ты”». Однако делает это затем, чтобы тут же — и совершенно декларативно — его оспорить: «Юродство в русской традиции вовсе не воюет с “недостатками” этого мира, как долгое время принято было считать в отечественной медиевистике даже и весьма крупными исследователями, но само состояние здешнего падшего мира юродивые не склонны считать “нормальным”: в конце концов, юродство в особой эксцентричной форме пытается именно восстановить “норму”, но такую “норму”, с позиции которой возможно особое прозрение (“всюду мертвецы”), дабы только и стало возможно их пасхальное воскресение» [8, с. 86].

При этом герой “Кроткой”, “закладчик” — как известно, своего рода ипостась “подпольного парадоксалиста”, сам разрушивший свое счастье и жизнь другого человека — оказывается тем самым невольно уравнен с князем Мышкиным. Ведь каких-либо разграничивающих эти образы оговорок — скажем, о том, что “юрродство” героя “Кроткой”, может быть, направлено не только на мир, но и на самого себя и т.п., — в работе нет¹⁷.

Если после всего выше сказанного предположить, что концепция князя Мышкина как образа, восходящего к явлению “юрродства” в русской народной религиозности, тем не менее имеет под собой основания, то все равно остается еще немало вопросов. Например, как соотносить эту концепцию с тем обстоятельством, что сам Достоевский ориентировался при создании образа князя Мышкина, по его собственному свидетельству, на образы Христа, Дон-Кихота, мистера Пиквика? Что в самом романе Мышкин соотношен

с пушкинским “рыцарем бедным”? Что писатель восхищался гением Вольтера, создавшего “простодушных” героев своих философских повестей? Что слово “идиот” по-гречески значит “несведущий человек” и что в Древней Греции так называли граждан полиса, живущих в отрыве от общественной жизни, не участвующих в общем собрании и иных формах государственного и общественного управления? Что, может быть, многие близкие самому Достоевскому герои, в особенности в его поздних произведениях, воплощают скорее инвариант “чудака”, который “другими” воспринимается как “смешной человек” и даже “юрродивый”?

Очевидно, что все это также имеет прямое отношение к генезису образа Мышкина и что хотя бы назвать все эти явления, а лучше бы и попытаться как-то обосновать свое убеждение в том, что по сравнению с архетипом “юрродивого” все эти другие прообразы или архетипы князя Мышкина имеют второстепенное значение, представляется совершенно необходимым. Однако вместе с тем хотелось бы поддержать ярко проявившуюся в работах И.А. Есаулова тенденцию к тому, чтобы перестать, наконец, просто повторять как рацею теоретические концепты, которые Бахтин применял к творчеству Достоевского¹⁸, а попытаться их переосмыслить¹⁹.

¹⁸ Примером такого рода может служить монография К.А. Баршта “Достоевский: этимология повествования” (СПб., 2019), которую отличает почти полное отсутствие ссылок на работы современных достоевсковедов, что в данном случае неспроста. См., например, раздел о “Селе Степанчикове...” (с. 38–57), главная мысль которого — об автобиографическом начале в характере Фомы Опискина и об отражении личных отношений Достоевского с А.Е. Врангелем в сюжетной линии “Опискин — Ростанев” — взята из статей В. Алекина (*Алекин В.* Об одном из прототипов Фомы Опискина // *Достоевский и мировая культура: Альманах* № 10. М., 1998. С. 243–247) и моей (*Кибальник С.А.* “Село Степанчиково и его обитатели” как криптопародия // *Достоевский: Материалы и исследования*. Т. 10. СПб., 2010. Т. 19. С. 141–142; см. также: *Кибальник С.А.* Проблемы интертекстуальной поэтики Достоевского. СПб., 2013. С. 139–140). Также обращает на себя внимание широкое использование в книге Баршта понятий “криптографический автобиографизм”, “криптограмма” и т.п., в том числе и применительно к “Селу Степанчикову...”, без упоминания моей выше названной работы или хотя бы ссылок на Р.Г. Назирова, писавшего о “криптопародиях” в творчестве А.П. Чехова, между тем как соответствующие разделы его книги в качестве отдельных статей также вышли значительно позднее.

¹⁹ См. также: *Есаулов И.А.* Пасхальность русской словесности. 2-е изд., доп. Магадан: Новое Время, 2020. 464 с. В главе 10 “Пасхальность в поэтике Достоевского” (с. 250–293) воспроизведена его концепция “шутовства” и “юрродства” в творчестве писателя.

¹⁷ Ср. точку зрения Ф.В. Макаричева: «Действительно, в чисто агнографическом смысле тип юродивого в произведениях Достоевского не представлен. Ближе всего к этому типу можно отнести лишь несколько образов, причем женских: Марью Лебядкину, Лизавету Смердящую, по ряду признаков — Лизавету из “Преступления и наказания” и “кликушу” Софью, вторую жену Федора Павловича. В отношении других героев, которых литературоведы часто относят к юродивым, было бы точнее говорить лишь о мотиве юродства» [5, с. 108]. И далее исследователь вводит ценное разграничение смыслов, в которых можно говорить о юродстве применительно к творчеству Достоевского.

Другой, еще более позитивный пример подобного рода можно видеть в одной из последних книг В.К. Кантора. Исследователь разбирает в ней роман “Бесы”, но почему-то тоже не может обойтись при этом без понятия карнавала: «В главе “Перед праздником” Достоевский дает общий абрис настроения и поведения жителей губернского города: “Странное было тогда настроение умов. Особенно в дамском обществе обозначилось какое-то легкомыслие, и нельзя сказать, чтобы мало-помалу. Как бы по ветру было пущено несколько чрезвычайно развязных понятий. Наступило что-то развеселое, легкое, не скажу чтобы всегда приятное. В моде был некоторый беспорядок умов... <...> Искали приключений, даже нарочно подсочиняли и составляли их сами, единственно для веселого анекдота”. Казалось, что в это карнавальное веселье разврат, обещанный, ожидаемый Верховенским, вкрадывался как норма поведения. Здесь можно вспомнить, скажем, и историю с молоденькой женой сурового поручика, перед которым она провинилась, проигравшись в карты, и муж по старинке, несмотря на вопли жены, “натешился над нею досыта”» [10, с. 238–239].

Сам Достоевский слова “карнавал” в “Бесах” не употребляет — причем ни разу. Кажется, оно тут совсем ни к месту. И тем не менее исследователь заключает это описание Достоевского так: “И ведь праздника еще не было. Просто карнавал, по наблюдению Достоевского <??? — С.К.>, пронизывал русскую жизнь” [10, с. 239]. Правда, В.К. Кантору хватает трезвости мысли, чтобы именно в этом пункте Достоевского и Бахтина решительно размежевать: “Только в отличие от Бахтина Достоевскому карнавал не казался освобождающей силой в России. Безмерная во всем, Россия безмерна и в карнавальная жизнь. Карнавал, на взгляд писателя, ведет к тотальному уничтожению нравственных христианских законов, элиминирует личность” [10, с. 239].

И далее исследователь обращает справедливый упрек к самому Бахтину: «Не случайно и Бахтин в своей концепции карнавализации словно забывает об обладающей собственной свободой и достоинством личности. Лицо у Бахтина заменяется “материально-телесным низом”, как высшим раскрепощением человека. “Бесы”, среди прочего, показывают *опасность* карнавала, превратившегося в норму жизни. Ибо эта та жизнь, которая становится питательной средой для бесовства» [10, с. 239].

Исследователь верно отмечает противоположность художественной мысли Достоевского по отношению к попытке философского его развития Бахтиным. Неясно одно: зачем вообще подменять понятия Достоевского понятиями Бахтина или вводить их через запятые как соприродные, в то время как они таковыми вовсе не являются? Бахтин в последние годы своей жизни сам сожалел о том, что в своей ранней книге о Достоевском он перекладывал связанные с христианством мысли писателя на иной язык. И недвусмысленно говорил о том, что делал это вынужденно²⁰. Возможно, так оно и было. В любом случае у нас-то ведь теперь никакой такой внешне принуждающей нас силы нет. И тогда зачем нам сегодня прибегать ко всему этому набору “далековатых” от Достоевского “идей”?

Работы В.К. Кантора и И.А. Есаулова, таким образом, могут служить прекрасной иллюстрацией того, как бахтинский инструментарий все более обнаруживает свою непригодность при попытках применения его к художественному мышлению Достоевского. В связи с этим можно вспомнить доклад американской исследовательницы Кэрол Эмерсон, прозвучавший на XVII Международном симпозиуме Достоевского в Бостоне, который ознаменовал существенные изменения в восприятии, наконец-то, и северо-американскими учеными концепции творчества Достоевского, выдвинутой в ранней книге Бахтина “Проблемы поэтики Достоевского” (1929). Исследовательница продемонстрировала постепенное осознание зарубежными учеными того, что интерпретация произведений писателя вне религиозно-этических категорий была вынужденным шагом русского философа, который, следовательно, напрасно добровольно повторяют некоторые современные исследователи, слишком доверившиеся постмодернистским представлениям о безусловной относительности бахтинского “диалога”.

4

К счастью, встречаются в наше время и работы, уже почти совершенно свободные от еще недавно едва ли не обязательного талмудистски затверженного бахтинского словаря, который в недавние времена легко позволял прослыть специалистом по Достоевскому. Такова, например, новая книга А.Б. Криницына “Сюжетология романов Ф.М. Достоевского” [11],

²⁰ См.: Бочаров С.Г. Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное обозрение, 1993. № 2. С. 70–79.

посвященная дискуссионной и вместе с тем теоретически важной проблеме. Несмотря на всю ее сложность, автору удается построить многоуровневую концепцию сюжетологии писателя, которая обосновывается в работе целым рядом сопутствующих исследований и разработок. Книга А.Б. Криницына написана с внутренним ощущением цельности и одновременно сложности и многосоставности самого предмета его исследования. Например, гораздо более плодотворным автору представляется не поиск единого сюжета романов “пятикнижия”, а признание множественности конструктивных и жанровых принципов их построения.

Нельзя не согласиться с основными положениями А.Б. Криницына: например, о том, что действие в романах Достоевского развивается экстенсивно, постоянным вводом новых побочных сюжетов, которые в скором времени претендуют на то, чтобы занять главенствующее положение; что сюжетные линии трансформируются в них в *сюжетные положения*, длящиеся наивозможно долго ради описания кризисного психологического состояния конфликтующих героев; что при этом возникает сложное противостояние двух антитетических романских жанров: остросюжетного и психологического и т.п. В рамках *многоуровневости сюжетных построений* в романах “пятикнижия” Достоевского автором выделены следующие сюжетно-смысловые уровни: 1) евангельский прасюжет; 2) символично-аллегорический уровень; 3) мифологический уровень; 4) уровень собственно внешнесобытийной романической интриги; 5) идейно-психологический и 6) злободневно-политический сюжетный уровень.

Основные главы книги, в которых исследователь поочередно анализирует все эти уровни многосоставного сюжета романов Достоевского, представляются продуманными и выверенными. А вот в главе седьмой “Характеристика отдельно взятых романов Достоевского”, в которой он сводит их воедино, в этих характеристиках — возможно, вследствие их, вынужденной лаконичности — кое-где имеют место небольшие неточности.

При истолковании некоторых эпизодов романа “Бесы” А.Б. Криницын, как нам кажется, разрушает неопределенность, сохраняемую у Достоевского. Например, когда исследователь пишет о “руководящей роли Ставрогина в создании подпольной организации” [11, с. 411], он, судя по всему, имеет в виду

реплику Верховенского Ставрогину: “Впрочем, *вы сами устав писали*, вам нечего объяснять”. Однако сам Ставрогин до этого ведь говорит Шатову: “...в строгом смысле я к этому обществу совсем не принадлежу, не принадлежал и прежде и гораздо более вас имею права их оставить, потому что и не поступал. Напротив, с самого начала заявил, что я им не товарищ, а если и помогал случайно, то только так, как праздный человек. Я отчасти участвовал в *переорганизации* общества по новому плану, и только” [2, т. 10, с. 193, 298]²¹. Отчасти реализует за автора сюжетную потенциальность романа А.Б. Криницын и когда говорит о “беременности” Даши (в то время как у Достоевского явно обозначена лишь ее связь со Ставрогиным [ср.: 2, т. 10, с. 190–191, 229]).

Иногда же исследователь — возможно, бессознательно следуя бахтинскому представлению об “амбивалентности” романа Достоевского²², — напротив, пишет как о чем-то неопределенном о том, что в романе заявлено вполне однозначно. Так, о пощечине, данной Шатовым Ставрогину, он замечает, что она “может иметь множество мотиваций, из которых самая очевидная — месть за соблазнение жены Шатова в Швейцарии — отрицается самим героем, а актуальной оказывается обида за отвержение Ставрогиным идеи народа-богоносца” [11, с. 417]²³. Между тем настоящая причина пощечины, которую Шатов дает Ставрогину, самим Ставрогиным названа

²¹ Еще Вяч. Полонский, возражая Л.П. Гроссману, подчеркивал: “Ставрогин не революционер и никогда им не был...” (Полонский Вяч. Николай Ставрогин и роман “Бесы” // Спор о Бакунине и Достоевском. Статьи Л.П. Гроссмана и Вяч. Полонского. Л., 1926. С. 193).

²² Эта мнимая тотальная “амбивалентность” Достоевского давным-давно и справедливо оспорена исследователями. См., например: Ветловская В.Е. Поэтика романа “Братья Карамазовы”. Л.: Наука, 1977. С. 52–67; Ветловская В.Е. Роман Ф.М. Достоевского “Братья Карамазовы”. СПб.: Издательство “Пушкинский Дом”, 2007. С. 397–408; Гаспаров М.Л. М.М. Бахтин в русской культуре XX века // Михаил Бахтин: pro et contra. В 2 т. Т. 2. СПб.: Изд-во Русского Христианского Гуманитарного Института, 2002. С. 33–36; Peace, Richard. On rereading Bakhtin // The Modern Language Review. 1993. Vol. 88. № 1 (January). P. 137–146.

²³ Возможно, автора в данном случае “подводит” хорошее знание истории рецепции “Бесов”. Сходным образом понимал эту пощечину, например, Вяч. Иванов: «...еретик казнит предательство своего ересиарха за то, что Ставрогин “христом” русским стать не захотел, и веру Шатова обманул, и жизнь его разбил» (Иванов Вяч.И. Основной миф в романе “Бесы” // Достоевский Ф.М. Бесы. Роман в трех частях. “Бесы”: Антология русской критики. М.: Согласие, 1996. С. 512).

совершенно определенно: “ — Стало быть, и я угадал, и вы угадали, — спокойным тоном продолжал Ставрогин, — вы правы: Марья Тимофеевна Лебядкина — моя законная, обвенчанная со мною жена, в Петербурге, года четыре с половиной назад. Ведь вы меня за нее ударили? — Шатов, совсем пораженный, слушал и молчал: — Я угадал и не верил, — пробормотал он наконец, странно смотря на Ставрогина. — И ударили? — Шатов вспыхнул и забормотал почти без связи: — Я за ваше падение... за ложь. Я не для того подходил, чтобы вас наказать; когда я подходил, я не знал, что ударю... Я за то, что вы так много значили в моей жизни...” [2, т. 10, с. 191].

Ставрогин много значил в жизни Шатова, а между тем низко солгал и тем самым отрекся от Марьи Тимофеевны. Так что все равно получается, что ударил он его за эти ложь и отречение, а не за “отвержение идеи народа-богоносца”. Если бы Шатов ударил Ставрогина за последнее, то получалось бы, что он не что иное, как мстительный параноик. Между тем образ этот написан совсем в другом ключе. И если бы это было за “отвержение идеи народа-богоносца”, то почему было бы не ударить Ставрогина во время их ночного свидания? Зачем делать это только после того, как Ставрогин солгал относительно Марьи Тимофеевны?

Подобное невольное искажение содержания романа при его анализе или даже пересказе — вещь, которая, увы, совсем не редко встречается в работах теоретико-литературного и в особенности философского характера. Заметим попутно, что когда произведения Достоевского анализируются (в действительности, как правило, просто пересказываются) иными историками философии или богословами, то их подчас просто невозможно узнать. Перефразируя известные слова Гёте, записанные Эккерманом, можно сказать, что явление в таких случаях как бы распинается на кресте теории. Но, к сожалению, встречается это явление — хотя, как мы видели, к счастью, в гораздо меньших масштабах — и в самых добротных филологических исследованиях.

5

Современные тенденции в изучении творчества Достоевского легко просматриваются — причем как в их позитивных, так и в негативных аспектах — и в новых комментированных изданиях Достоевского. Не считая возможным говорить здесь о недавних новых томах

второго академического издания “Полного собрания сочинений” Достоевского, в которых принимал участие я сам²⁴, скажу о некоторых других научных изданиях Достоевского последнего времени. Однако вначале несколько простых соображений методологического характера.

В современных исследованиях творчества Достоевского их авторы к огромному пласту уже имеющихся данных пытаются добавить хотя бы немного новое. В тех счастливых случаях, когда это новое — относится ли оно к фактическим данным или к имеющимся интерпретациям и комментариям — действительно есть, нередко тем не менее возникает по крайней мере две существенных проблемы.

Первая заключается в том, что это новое, если оно не было высказано прежде, возникает как добавление к уже накопленным сведениям и имеющимся интерпретациям. Когда об этих прежде накопленных сведениях и имеющихся интерпретациях в работе даже не упоминается, то это происходит по нескольким причинам. Либо автор о них не знает, либо он их недооценивает, либо сознательно о них умалчивает, чтобы преувеличить новизну собственного исследования.

Независимо от того, по какой причине это происходит, результат получается довольно плачевный. Вместо того чтобы говорить о том немногом, что автор новой работы имеет прибавить к существующему достоевсковедческому дискурсу, он выступает в жанре “Вольтер, тапан и Глинка”, то есть пишет так, как если бы до него в науке никогда и ничего не было. Беседует с великими, так сказать, “тет-а-тет”. У читателя подобной работы складывается искаженная картина (или не возникает никакой картины) истории вопроса, и для того, чтобы понять смысл такой работы и оценить степень ее новизны, ему приходится приложить немало усилий, восстанавливая эту картину самому.

Вторая существенная проблема, которая при этом нередко возникает, — это то, что

²⁴ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. сочинений: В 35 т. Т. 7. Преступление и наказание. Рукописные редакции. Наброски. 1864–1867. СПб., 2017; Т. 8. Идиот. СПб., 2019. По этой же причине за пределами настоящего обзора осталась коллективная монография “Что и как читали русские классики? (От круга чтения к стратегиям письма)” (Авт. кол.: Н.Ю. Грыкалова, С.А. Кибальник, С.Д. Титаренко, Б.Н. Тихомиров, В.В. Филичева; ИРЛИ РАН. СПб.: Пушкинский Дом, 2017).

когда в достоевсковедческих исследованиях к уже известным добавляются какие-то новые обстоятельства или факторы создания того или иного произведения Достоевского, то при этом они оказываются никак не соотношены с сопутствующими им факторами или обстоятельствами. Новым факторам или обстоятельствам приписывается при этом исключительная, но в реальности отнюдь не свойственная им роль.

Новое исследование в результате подобной операции, быть может, выглядит значительнее, чем оно есть. Однако только на первый взгляд. При внимательном рассмотрении вопроса читатель обнаруживает, что автор умолчал о весьма существенных факторах и обстоятельствах, которые имеют если не большее, то, по крайней мере, не меньшее значение, чем те, о которых речь идет в новой работе. И только после того, как читатель — уже самостоятельно и приложив немалые усилия, представит себе все эти сопутствующие обстоятельства, он окажется в состоянии правильно оценить новые факторы и обстоятельства, о которых идет речь в данном исследовании.

Вот почему профессиональное литературоведческое исследование должно состоять в значительной мере из ссылок и оговорок, оговорок и ссылок. И это именно то, чего так не хватает в современных достоевсковедческих исследованиях, — причем иногда даже в таких, которые написаны высокопрофессиональными филологами и отличаются несомненными достоинствами (а только о таковых и идет речь в настоящей работе).

Рассмотрим это явление на примере еще одного именно такого литературоведческого исследования, осуществленного большей частью в рамках нового комментированного издания одного из самых известных и, соответственно, самых изученных произведений Достоевского.

6

Речь пойдет о новом, сопровождаемом развернутым историко-литературным комментарием, двухтомном научном издании романа “Бесы”²⁵. Во вступительной статье к нему, а также в специальной работе Б.Н. Тихомирова “Катехизис революционера” Сергея Нечаева [12] мы находим интересные наблюдения по вопросу об источниках этого романа.

²⁵ *Достоевский Ф.М.* Бесы. Часть первая, Часть вторая. СПб.: Изд-во “Пушкинский Дом”, 2018; *Достоевский Ф.М.* Бесы. Часть третья. Комментарии. СПб., 2018.

Правда, из множества самых разных источников “Бесов” речь тут идет об одном только нечаевском “Катехизисе революционера”. При этом, к сожалению, без достаточного внимания оставлены исследователем наблюдения, сделанные его предшественниками в изучении данной темы. Между тем некоторые конкретные параллели между романом и “Катехизисом революционера”, которые делает в своей статье Б.Н. Тихомиров, в латентной, а то и в прямой форме присутствуют в комментарии В.А. Туниманова к первому академическому изданию “Полного собрания сочинений” Достоевского.

Это касается, например, параллелей к тексту “Бесов” из III главы “Катехизиса революционера” (“Отношение революционера к обществу”) и IV главы (“Отношение товарищества к народу”). Во избежание обширного цитирования укажем лишь места в обоих источниках, отмеченные довольно разительными совпадениями. Так, на страницах 172–173 статьи Б.Н. Тихомирова [12] и на страницах 194–195, 207 12-го тома академического издания [2] проводятся одни и те же параллели²⁶, а соответственно, на страницах 174 и 197 12-го тома сделаны сходные оговорки относительно существенной трансформации, которой положения “Катехизиса...” подверглись в художественном произведении Достоевского.

Наконец, есть в академическом издании и выводы, весьма сходные с теми умозаключениями, к которым приходит Б.Н. Тихомиров:

²⁶ Впервые эти сближения были сделаны в изд.: *Достоевский Ф.М.* Письма: В 4 т. М.; Л., 1930. Т. 2. С. 484–485 (примеч. А.С. Долинина). Эта работа входит в “список литературы” к статье Б.Н. Тихомирова. Также входит в “список литературы”, но не цитируется статья Ф.И. Евнина, в которой приведены § 6, 17 18, 19, 21, 22, 24 и 25 “Катехизиса...”, а после этого говорится: «...в свете приведенных только ко пунктов становятся ясными мотивы, действия, приемы, которыми Достоевский надеялся своего “монстра от революции”: и стремление Петра Верховенского любыми способами скомпрометировать Ставрогина, Лембе и многих других, чтобы поставить их в зависимость от себя; и попытка втереться в высшее общество, обмануть и использовать в своих интересах Юлию Михайловну, Гаганова; и связь его с разбойничьим миром в лице Федьки Каторжного; и проповедь “страшного, полного, повсеместного и беспощадного разрушения”, пренебрежительные отзывы о “теоретиках” — сторонниках утопического социализма; и дьявольский план “скрепить пятерку кровью”; и использование “праздника” для скандалов и провокаций; и организованный Верховенским поджог — как средство посеять панику в городе; и многое другое» (*Евнин Ф.И.* Роман “Бесы” // Творчество Ф.М. Достоевского. [Сб. статей]. М., 1959. С. 228–229).

«Близость практической программы Петра Верховенского и проповедуемых им основ революционной организации к “Катехизису” отмечалась неоднократно исследователями романа. Действительно, Достоевский в “Бесах” как бы “реализует” все теоретические пункты “Катехизиса”. Деятельность Петра Верховенского и других “бесов” по организации беспорядков, хаос в городе, хладнокровная и циничная эксплуатация в этих целях “либеральствующей” губернаторши Юлии Михайловны, ее недалекого мужа Лембеке, заигрывающего с молодым поколением писателя Кармазинова, компрометация и опутывание сплетнями и интригами городских обывателей, использование уголовных элементов, поджоги, убийства, скандалы, богохульства — все это как бы иллюстрирует положения “Катехизиса” и других “поджигательных” прокламаций» [2, т. 12, с. 210] (курсив мой. — С.К.).

Выделенная нами фраза также почти буквально повторена в статье Б.Н. Тихомирова: «...действует Петр Степанович в романе так, как будто последовательно, пункт за пунктом, осуществляет положения нечаевского “Катехизиса...”» [12, с. 171]. Ср. также в той же статье: «И писатель не просто восполнил дефицит материала работой творческой фантазии, но гениально “развернул” в произведении в действиях своего героя ряд принципиальных установок, которые были лишь теоретически намечены автором “Катехизиса...”, но не получили реализации в его практической деятельности. В частности, воплотил в сюжете романа детально разработанную Нечаевым тактику действий в отношении практически всех социальных (и не только) слоев современного российского общества. В этом отношении в фигуре Петра Верховенского в “Бесах” отразился не только облик реального политического авантюриста Сергея Нечаева, но и та программа “идеального революционера”, которая была столь рельефно очерчена в написанном им документе» [12, с. 174].

При этом нельзя упрекнуть Б.Н. Тихомирова в том, что он вовсе не ссылается на первое академическое издание Достоевского. Однако единственный раз, когда он все же это делает, он подвергает его критике, причем по чисто внешнему, формальному признаку: «...Более чем странным представляется тот факт, что в академическом ПСС, в обширнейших статейных примечаниях к роману “Бесы” не названа дата газетной публикации “Катехизиса

революционера”, то есть не акцентировано возможное время знакомства Достоевского с его текстом» [12, с. 174]. Между тем, учитывая то, что В.А. Тунимановым была названа дата начала рассмотрения так называемого “нечаевского дела” в Петербургской судебной палате: 1 июля 1871 г. — это обстоятельство представляется несущественным.

Зато действительно имеет значение, что хронология работы Достоевского над романом соотнесена с судебным процессом Б.Н. Тихомировым иначе, чем это сделано у В.А. Туниманова. Первый из них констатирует только то, что «...ко времени знакомства писателя с текстом “Катехизиса революционера” первая (из трех) часть романа была уже опубликована, а начало второй если еще не отправлено в редакцию “Русского вестника”, то близко к завершению» [12, с. 169]. Между тем в комментарии последнего на этот счет было сказано, и небезосновательно, нечто большее: «Новая волна — и неизмеримо более значительная — статей о Нечаеве в обществе “Народная расправа” была вызвана открывшимся 1 июля 1871 г. в Петербургской судебной палате процессом над большой группой молодежи, преимущественно студенческой, в той или иной степени связанной с организацией Нечаева. К тому времени Достоевским уже была опубликована первая часть романа, две главы второй части и в общих чертах намечены продолжение и окончание “Бесов”» [2, т. 12, с. 202].

Очевидно, что последнее утверждение, которое в полной мере опирается на ход работы над текстом романа, как он отражен в рабочих тетрадях Достоевского (см.: [2, т. 12, с. 161–183]), идет вразрез с представленным в работах Б.Н. Тихомирова взглядом на степень использования в “Бесах” текста нечаевского “Катехизиса...”: когда писатель познакомился с “Катехизисом...”, роман в значительной степени уже сложился.

Подобные случаи, к сожалению, имеют место во многих и многих работах современных исследователей Достоевского. Мы говорим об отдельных подобных пропусках в работах наших лучших достоевсковедов только потому, что уж им-то никак не позволительны подобные недосмотры, потому что, в отличие от большинства их коллег, им вполне хватает познаний для того, чтобы их не допускать.

Впрочем, возможно, время от времени такое случается едва ли не с каждым исследователем. Например, я сам — если руководствоваться

известным принципом “начни с себя!” — опубликовал несколько статей на тему “Достоевский и Макс Штирнер”, не зная всех своих предшественников в изучении этой темы, и поэтому впоследствии из стремления поправить этот недосмотр был вынужден изложить подлинную историю изучения этого вопроса в специальной статье²⁷. Так или иначе, всем нам стоило бы приложить усилия к тому, чтобы таких вещей в наших работах было как можно меньше. А между тем мы то и дело слышим на научных конференциях, посвященных творчеству Достоевского, доклады, а то даже и читаем статьи, в которых отсутствуют какие-либо ссылки на научную литературу.

Подчеркнем, что в реферируемой работе замечательного знатока творчества Достоевского, каким, безусловно, является Б.Н. Тихомиров, содержится также и ряд совершенно оригинальных наблюдений на избранную им тему (см., например: [12, с. 175–177]).

7

Однако меньшая, чем это заявлено, оригинальность высказанных Б.Н. Тихомировым соображений — не единственная и даже не главная уязвимая сторона его работы. Другая и гораздо более существенная проблемная точка ее заключается в том, что, в то время как в академическом издании использованию Достоевским в “Бесах” отдельных моментов нечаевского “Катехизиса...” отнюдь не придается абсолютного характера, именно так это выглядит — хотя, возможно, произошло это ненамеренно — в статье Б.Н. Тихомирова.

В академическом же издании все выше обозначенные сближения с нечаевским “Катехизисом...”, напротив, вводятся в ряд гораздо более широких контекстов. Во-первых, это контекст других работ Нечаева и материалов нечаевского дела, причем прослеженный с точки зрения того, как Достоевский узнавал о Нечаеве и о деле “Народной расправы” через периодическую печать того времени и устные рассказы знакомых [2, т. 12, с. 197–200]. Во-вторых, контекст русской социалистической мысли 1860–1870-х годов и прежде всего работ и выступлений М.А. Бакунина, Ш.-Ж. Жаклара, П.Н. Ткачева, А.И. Герцена, М.Е. Салтыкова-Щедрина, В.А. Зайцева,

Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева и ряда других [2, т. 12, с. 200–202, 211–216]. В-третьих, контекст французской и русской социально-утопической мысли 1830–1840-х годов [2, т. 12, с. 211–213, 218]. И, наконец, в-четвертых, контекст личных впечатлений Достоевского, связанных с его участием в кружке “петрашевцев” [2, т. 12, с. 218–223]²⁸.

Все эти контексты, обстоятельно прослеженные В.А. Тунимановым в академическом издании, воссоздают внутреннюю историю создания шедевра Достоевского во всей ее сложности. При этом методология исследователя в полной мере соответствует не раз проверенному литературно-теоретическому представлению о полигенетичности всякого подлинно художественного произведения, в котором причудливо переплетаются и существенным образом (подчас до неузнаваемости) трансформируются самые разнообразные, как относящиеся непосредственно ко времени работы над ним, так и полученные задолго до этого, личные впечатления писателя.

«Личные мемуары, — утверждал в свое время Л.П. Гроссман, — на всем протяжении “Бесов” сочетаются с политическим бюллетенем дня, и хроника былого дублируется текущей газетной передовицей»²⁹. Прделанный В.А. Тунимановым анализ позволил ему сделать еще более радикальный вывод: “...Достоевский, памфлетно изображая деятельность нечаевцев и кружок либерала Верховенского, постоянно и преднамеренно вводит в этот свой памфлет также и черты, идеи, отдельные детали, характерные не столько для радикальных студентов конца 1860-х годов, сколько для петрашевцев 1840-х годов” [2, т. 12, с. 218].

В работах Б.Н. Тихомирова обо всех этих и других (помимо нечаевского “Катехизиса...”) источниках не заходит речь, конечно же, потому, что исследователь сосредоточен на вопросе об отражении в “Бесах” именно этого источника. Но в том-то и дело, что для

²⁷ Кибальник С.А. Федор Достоевский и Макс Штирнер: (К постановке проблемы) // Новый филологический вестник. 2018. № 2 (45). С. 58–72.

²⁸ Впрочем, к этому можно прибавить еще один важный и совершенно неучтенный в академическом издании контекст — это отражение в “Бесах” поведения некоторых петрашевцев на каторге и в ссылке. См. об этом: Кибальник С.А. Нечаевцы или петрашевцы? (О прототипах главных героев романа Достоевского “Бесы”) // Неизвестный Достоевский. 2020. № 2 (в печати).

²⁹ Гроссман Л. Политический роман Достоевского // Ф.М. Достоевский. Бесы. М.; Л.: Academia, 1935. С. LXXX.

его выявления необходимо сопоставление романа со всем корпусом русской и западно-европейской социалистической литературы 1840–1870-х годов. Ведь многие пункты “Катехизиса...” встречаются и в некоторых других ее текстах, и для того, чтобы уверенно говорить об отражении в “Бесах” именно нечаевского “Катехизиса...”, стоило бы вначале выявить то, что в его содержании уникально, а все остальные сближения сопроводить существенными оговорками о том, что они вовсе не так уж непреложно свидетельствуют об отражении в романе именно этого источника³⁰.

8

Хотя бы назовем некоторые другие достоевсковедческие труды последнего времени, которые, к сожалению, не могут быть здесь рассмотрены. Это и интереснейшая книга о том, как произведения Достоевского оплачивались их публикаторами при жизни писателя и как они продавались, — в сопоставлении с тем, как с этим обстояло дело у О. де Бальзака и Э. Золя³¹, и книга ценных материалов, предназначенная для преподавания Достоевского в США³², и монографии о “пересечениях” Чехова и Ницше с Достоевским³³, и книга о соотношении реализма Достоевского с реализмом Диккенса, Флобера и Толстого³⁴, и многочисленные работы о рецепции творческого наследия писателя в русской и зарубежных

литературах, философии и кино³⁵, и более общие работы о Достоевском³⁶.

Все они показывают, что в настоящее время уже возможен и даже необходим выход изучения Достоевского на новые рубежи. Однако стать реальностью он сможет, по нашему убеждению, только на основе окончательного отказа от всех внеположных самому писателю призм, сквозь которые принято смотреть на него: причем не только от марксистской или структуралистской, но, наконец, и от ортодоксально-христианской и бахтинистской.

К счастью, для того чтобы без посредников обратиться к подлинному Достоевскому, многое необходимое у нас уже есть: научные комментированные издания его произведений, которых появляется все больше и больше, фундаментальные труды классиков академического изучения писателя, которые все время переиздаются, причем нередко в сопровождении детального научного комментария к ним³⁷, в высшей степени содержательные и полезные публикации на страницах сравнительно недавно возникшего

³⁰ Понятно, что многие современные исследователи Достоевского, в особенности начинающие, были бы не в состоянии выполнить это условие, даже если бы приложили к этому немалые усилия, но в данном случае речь идет об авторе, которому это вполне по плечу.

³¹ Paine, Jonathan. *Selling the Story: Transaction and Narrative Value in Balzac, Dostoevsky, and Zola*. Harvard University Press, 2019.

³² *A Dostoevsky Companion: Texts and Contexts*. Edited by Kate Holland, Katherine Bowers and Connor Doak. Cultural Syllabus series. Academic Studies Press, 2019.

³³ Живолупова Н.В. Достоевский и Чехов: аспекты архитектоники и поэтики: сборник статей. Нижний Новгород: Дятловы горы, 2017. 268 с.; Stepenberg, Maia. *Against Nihilism: Nietzsche Meets Dostoevsky*. Montreal: Black Rose Books, 2018.

³⁴ Vladiv-Glover, Slobodanka. *Dostoevsky and the Realists: Dickens, Flaubert, Tolstoy*, 2019. См. рецензию на нее: Баршут К.А. Slobodanka M. Vladiv-Glover. *Dostoevsky and the Realists*. Dickens, Flaubert, Tolstoy. New York: Peter Lang, 2019. 215 p. // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 79. 2020. № 1. С. 102–107.

³⁵ По, Бодлер, Достоевский. Блеск и нищета национального гения / Ред. С.Л. Фокина и А. Ураковой. М.: Новое литературное обозрение, 2017; *Uspenski, E. Majakovski i Dostojewski*. Beograd: Visoka škola za komunikacije, 2018; *Raid, L. Le souterrain: Wittgenstein, Bakhtine, Dostoevski*. Paris: Les éditions du Cerf, 2017; *Saggiando, C. Gide face a Dostoievski: par dela le mariage du bien et du mal; préface de P. Masson*. Saint-Georges-d'Orques: Publications de l'Association des amis d'André Gide, 2018; *Dostoievski a l'écran / dirigé par M. Estève et A.Z. Labarrère*. Condé-sur-Noireau: Éditions Charles Corlet, 2017; *Eymar, C. La Mirada rusa hacia Maria: perspectivas teológicas e estéticas de Dostoievski a Tarkovski*. Madrid: Fonte Grupo Editorial, Editorial de Espiritualidad, 2018.

³⁶ *Lypez Cambronero, M. Dostoievski: la cuestiyn maldita*. Madrid: Fundaciyn Emmanuel Mounier, 2017; *Kruszelnicki, M. Dostojeski: konflikt i niespełnienie*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017; *Michalska-Suchanek, Mirosława. Piętnaście odsłon Dostojewskiego*. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2018; *Majewska, Monika. Dostojewski w utworach politycznych Conrada*. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019; Русская классическая литература в мировом культурно-историческом контексте / Под ред. И.А. Есаулова, Ю.Н. Сытиной, Б.Н. Тарасова. М.: Алейтея, 2017; *Волгин И. Ничей современник. Четыре круга Достоевского*. М.; СПб., 2019. 735 с.; *Касаткина Т.А. Достоевский как философ и богослов: художественный способ высказывания* / Отв. ред. Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2019. 336 с. (Серия “Русская литература и философия: пути взаимодействия”. Вып. 4).

³⁷ Замечательным примером этого рода может служить издание: *Комарович В.Л. “Весь устремление”: Статьи и исследования о Ф.М. Достоевском* / Сост., отв. ред., автор вступ. ст. О.А. Богданова. Подг. текста и коммент. О.А. Богдановой, А.Г. Гачевой, Т.А. Кошемчук, А.Б. Криницына, Г.И. Романовой. Б.Н. Тихомирова. М.: ИМЛИ РАН, 2018. 923 с.

электронного журнала “Неизвестный Достоевский”, другие ценные периодические издания, посвященные Достоевскому, и, как мы видели, серьезные труды о русском классике современных ученых со всего мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Blake, Elisabeth A. *Travels from Dostoevsky's Siberia. Encounters with Polish Literary Exiles*. Boston: Academic Studies Press, 2019. 219 p.
2. Достоевский Ф.М. Полн. собр. сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
3. Corrigan, Yuri. *Dostoevsky and the Riddle of the Self*. Northwestern University Press, 2017. 238 p.
4. Есаулов И.А. Объяснение, интерпретации, понимание (На материале романа “Идиот”) // Достоевский и мировая культура. Альманах № 37. СПб.: Серебряный век, 2019. С. 38–50.
5. Макаричев Ф.В. Художественная индивидуология в поэтике Ф.М. Достоевского. СПб.: Электронное издательство, 2016. 374 с.
6. Панченко А.М. “Я эмигрировал в древнюю Русь”. Россия история и культура. СПб.: Изд-во журнала “Звезда”, 2005. 544 с.
7. Есаулов И.А. Русская классика: новое понимание. Изд. 3-е. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2017. 550 с.
8. Есаулов И.А. Художественный мир Достоевского в свете оппозиции “юрродство/шутровство” и позиция Бахтина. На материале фантастического рассказа “Кроткая” // Достоевский и мировая культура. Альманах № 36. СПб.: Серебряный век, 2018. С. 75–86.
9. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Изд-во “Э”, 2017. 637 с.
10. Кантор В.А. Изображая, понимать, или Sententia sensa: философия в литературном тексте. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. 826 с.
11. Криницын А.Б. Сюжетология романов Ф.М. Достоевского. М.: МАКС Пресс, 2017. 455 с.
12. Тихомиров Б.Н. “Катехизис революционера” Сергея Нечаева. Исторический документ и его роль в творческой истории романа “Бесы” // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2019. № 3. С. 162–178.
2. Dostoevskiy, F.M. *Polnoye sobraniye sochineniy: V 30 t.* [Complete Works: In 30 Volumes]. Leningrad, Nauka Publ., 1972–1990. (In Russ.)
3. Corrigan, Yuri. *Dostoevsky and the Riddle of the Self*. Northwestern University Press, 2017. 238 p.
4. Esaulov, I.E. *Obyasnenniy, interpretatsii, ponimaniye (na materiale romana “Idiot”)*. [An Explanation, Interpretations and Understanding (Based on the Novel “Idiot”)]. *Dostoevskiy i mirovaya kultura. Almanakh № 37* [Dostoevskiy and World Culture. Miscellany No. 37]. St. Petersburg, 2019, pp. 38–50. (In Russ.)
5. Makarichev, F.V. *Hudozhetsvennaya individologiya v poetike F.M. Dostoevskogo* [Creative Individuology in Dostoevsky's Poetics]. St. Petersburg, 2016. 374 p. (In Russ.)
6. Panchenko, A.M. *“Ya emigriroval v Drevniuyu Rus”*. *Rossiya: istoriya i kul'tura* [“I Emigrated to the Medieval Russia”. Russia: History and Culture]. St. Petersburg, 2005. 544 p. (In Russ.)
7. Esaulov, I.E. *Russkaya klassika: novoye ponimaniye* [Russian Classics: New Understanding]. St. Petersburg, 2017. 550 p. (In Russ.)
8. Esaulov, I.E. *Hudozhetsvennyi mir Dostoevskogo v svete oppozitsii “yurodstvo – shutovstvo” i pozitsiya Bakhtina. Na material fantasticheskogo rasskaza “Krotkaya”* [Dostoevsky's World in the Light of Opposition “Yurodstvo – Shutovstvo” and the position of Mikhail Bakhtin]. *Dostoevskiy i mirovaya kultura. Almanakh № 36* [Dostoevskiy and World Culture. Miscellany No. 36]. St. Petersburg, 2018, pp. 75–86. (In Russ.)
9. Bahtin, M.M. *Problemy poetiki Dostoevskogo* [The Issues of Dostoevsky's Poetics]. Moscow, 2017. 637 p. (In Russ.)
10. Kantor, V.A. *Izobrazhat', ponimaya, ili Sententia sensa: filosofiya v literaturnom tekste* [To Understand While Describing, or Sententia Sense: Philosophy in the Literary Context]. Moscow, St. Petersburg, 2018. 826 p. (In Russ.)
11. Krinitsyn, A.B. *Siuzhetologiya romanov F.M. Dostoevskogo* [The Plots Theory of Dostoevsky's Novels]. Moscow, 2017. 455 p. (In Russ.)
12. Tikhomirov, B.N. *“Katehizis revolitsionera” Sergeya Nechaeva. Istoricheskiy dokument i ego rol' v tvorcheskoy istorii romana “Besy”* [“The Cathedism of a Revolutionary” by Serguey Nechaev]. *Dostoevskiy i mirovaya kultura. Filologicheskii zhurnal* [Dostoevskiy and World Culture. A Philological Journal]. 2019, No. 3, pp. 162–178. (In Russ.)

REFERENCES

1. Blake, Elisabeth A. *Travels from Dostoevsky's Siberia. Encounters with Polish Literary Exiles*. Boston: Academic Studies Press, 2019. 219 p.